

Обзор существующих на сегодняшний день работ показывает, что с точки зрения глубины, систематичности и оригинальности беловедение в Китае по-прежнему имеет свои недостатки — системных аналитических исследований очень мало. Однако упорство китайских литературоведов в условиях современной культурно-научной среды, характеризующейся большей, чем в XX веке, открытостью и инклюзивностью, вполне дает основания надеяться на расширение и углубление результатов изучения творческого наследия Андрея Белого.

DOI: 10.31860/0131-6095-2025-1-170-191

ВОСПОМИНАНИЯ И. Н. ПОТАПЕНКО «НЕСКОЛЬКО СЛОВ»

(ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЗАМЕТКА, ПОДГОТОВКА ТЕКСТА И КОММЕНТАРИИ
© А. В. ВОСТРИКОВА)

Игнатий Николаевич Потапенко (1856–1929)¹ прожил почти полувековую жизнь в литературе, проходя разные этапы и меняя статусы. Начиная писатель, обративший на себя внимание в начале 1880-х годов, к середине 1890-х уже стал одним из самых читаемых беллетристов России. Его многочисленные произведения печатались в популярнейших толстых журналах, собрание сочинений с 1891 года выходило в издательстве Ф. Ф. Павленкова, пьесы шли на императорской сцене и в любительских театрах; его имя постоянно было на слуху благодаря обширным знакомствам в литературной и артистической среде, участию в разнообразных чтениях и вечерах, а также многочисленным романам, происходившим на глазах любопытствующей общественности; дружба с Чеховым и связь с Ликой Мизиновой и в настоящее время известны лучше, чем его литературные произведения. К началу XX века у Потапенко составила своя читательская аудитория, которая знала, чего ждать от очередных его романов и повестей — и чего от них ждать не нужно. Он не выработал своего неповторимого стиля и не открыл своей темы; он откликался на запросы времени — и вместе с этим временем постепенно сходил на нет. Когда пришла революция, Потапенко пропал, и никто особо не заметил его отсутствия.

Пересидев самые опасные и голодные годы в провинции, Потапенко в 1922 году вернулся в Петроград, предполагая продолжить писательскую жизнь. Используя богатый опыт и жанровые навыки, он представил читателям целый ряд новых произведений в диапазоне от антиклерикальной пьесы «Ряса» до привычных «очерков южно-русского села». В потенциальный репертуар входили и мемуары, тем более что возраст подходил к 70 годам, а биография содержала множество занимательных сюжетов и неожиданных поворотов. У Потапенко уже был некоторый опыт в этой области, в первую очередь связанный с воспоминаниями о Чехове. Однако к 1920-м годам его личность как таковая уже не представляла живого интереса для публики, а имя все чаще употреблялось как нарицательное, в значении рядового литератора былых времен с давнопрошедшей популярностью. Он относился к этому с достаточной иронией, не страдая излишним авторским самолюбием,² — и так и начал писать воспоминания, на первых страницах заявив программу: «...не история моей жизни будет предметом этой книги, а литературно-общественные и бытовые отношения <...> так, как они преломлялись

¹ См.: *Гитович И. Е.* Потапенко Игнатий Николаевич // Русские писатели. 1800–1917: Биографический словарь. М., 2007. Т. 5. С. 111–115.

² Ср.: «Потапенко, Игнатий Ник. Относится к себе иронически. Мил. Прост. Самый законченный обыватель, какого я когда-либо видал» (*Чуковский К. И.* Дневник. 1901–1929. М., 1991. С. 76; июнь 1917 года).

в моем сознании». Такой подход не был литературной игрой; пользуясь ироничной формулой того времени, — «это не прием, а серьезно».³ Впрочем, мы судим только по единственному начальному фрагменту, представленному в нашей публикации. Общая интонация вступления и отдельные фразы в тексте позволяют предполагать запланированное продолжение, однако если оно и было написано, обнаружить его не удалось. Публикуемый фрагмент не датирован; некоторые стилистические сходство объединяет его с двумя рассказами, написанными для «Веселой библиотеки „Бегемота“» в конце 1920-х годов и также основанными на биографическом материале: «Сурчанский „университет“» (1927) и «История одной „коммуны“» (1928). Вероятно, это были части общей работы над автобиографической темой, которая занимала Потапенко в 1920-е годы, однако отсутствие рукописей не позволяет ни более точно датировать, ни прояснить последовательность и возможные взаимоотношения составляющих.

Тематически фрагмент посвящен студенческой юности Потапенко и его первым шагам в литературе. После окончания Херсонского духовного училища (1871) он учился в Одесской духовной семинарии, а с 1875 года посещал занятия на юридическом и физико-математическом факультетах Новороссийского университета; в 1877 году приехал в Петербург, где до 1881 года учился на историко-филологическом и юридическом факультетах университета, а также в консерватории по классу вокала (с 1878 года); не получая помощи из дома, жил очень бедно, зарабатывал уроками; с ранней юности мечтая о литературе, именно в петербургские студенческие годы Потапенко дебютировал в печати. Фактическая составляющая публикуемых воспоминаний более чем скромна: упомянутые события общеизвестны, острые темы аккуратно обойдены молчанием, библиографические сведения приблизительны и неточны, как и в ответах на анкету Ф. Ф. Фидлера десятью годами ранее.⁴ Но такая размытая фигура автора компенсируется его вниманием к окружающему. Не опускаясь до карикатуры, Потапенко резко и точно фиксирует приметы жизни полувековой давности, рисует портреты знакомых, как они отложились в его памяти, независимо от того, приобрели ли они историческое значение или канули в Лету. В этой безоглядности, наверное, главное достоинство публикуемых воспоминаний для нас: они написаны в тот короткий период, когда можно было свободно, без задней мысли рассказать о студенческих революционных кружках и изучении Маркса — и так же свободно над этим пошутить. И Потапенко оказался вполне адекватен этому настроению, припомнив и зафиксировав детали повседневности с чувством легкой ностальгии, не омраченной думами об исторических судьбах. Это не портрет эпохи, и даже заявленные «литературно-общественные отношения» показаны лишь узеньким краешком, но здесь сохранились живые детали, которых так часто недостает на монументальных полотнах.

Рукопись отложилась в личном фонде литературоведа Я. А. Назаренко. Чем был вызван его интерес к воспоминаниям Потапенко, когда и при каких обстоятельствах они к нему попали, — неизвестно.⁵ Текст представляет собой машинопись на стандартных

³ См.: Гинзбург Л. Я. О старом и новом. Л., 1982. С. 362.

⁴ См.: Первые литературные шаги: Автобиографии современных русских писателей / Собрал Ф. Ф. Фидлер. М., 1911. С. 67–68.

⁵ Биография Якова Антоновича Назаренко (1893 — ок. 1975) известна фрагментарно. С начала 1920-х годов он преподавал в Институте истории искусств, через несколько лет вошел в Правление института и возглавил Социологический комитет, став главным действующим лицом в борьбе марксистов с формалистами, однако уже в начале 1930-х годов сам подвергся критике со стороны партийного руководства, был исключен из партии и уволен. До 1936 года он предпринял несколько попыток восстановиться в партии, преподавал в ЛГУ и ЛГПИ им. А. И. Герцена, а затем уехал в провинцию. Ему удалось избежать арестов, возможно, в том числе благодаря родственным связям с легендарным революционером Н. А. Морозовым (жена Назаренко Нина Абрамовна, урожд. Миляева, была племянницей Ксении Алексеевны Морозовой, жены почетного академика); судя по письмам к Морозовым, Назаренко в 1940-е годы был преподавателем Рязанского педагогического института и продолжал литературоведческие занятия (упоминается «диссертация» о творчестве А. М. Горького). С 1960-х или начала 1970-х годов супруги Назаренко жили в Ленинграде. Архив был передан Н. А. Назаренко в Отдел рукописей Государственной публичной библиотеки (ныне РНБ) в 1976 году, вероятно, после смерти мужа (см.: РНБ. Ф. 1174.

листах писчей бумаги, с одной стороны листа, первый экземпляр, с незначительной авторской правкой от руки (РНБ. Ф. 1174. № 7. Л. 1–33). Орфография и пунктуация приведены в соответствие современной норме, с сохранением ряда особенностей написания; опечатки исправлены без оговорок.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ

Принимаясь за составление этой книги, я кладу в основу своей работы убеждение, что из всех действующих в ней лиц самый неинтересный — это автор. Говорю это не из скромности (которая могла бы показаться ложной), а единственно для того, чтоб читателю была ясна моя задача: не история моей жизни будет предметом этой книги, а литературно-общественные и бытовые отношения за период с конца семидесятых годов вплоть до революции так, как они преломлялись в моем сознании. Без сомнения, я буду присутствовать в каждой строке повествования, поэтому уж само собою ясно, что я не буду описывать ни так называемого «золотого детства», которое у меня, впрочем, было из значительно менее благородного металла, ни того, как я, в качестве самого умного, редактировал тайный школьный журнал, ни родителей, которые почти во всех «воспоминаниях» оказываются милыми и добрыми (что вполне естественно), ни «моей первой любви», которая у всех, не исключая и писателей, бывает приблизительно одинакова. Но я хотел бы, чтоб обо мне так же мало думали, как мало думают о радиоприемнике, когда слушают передаваемую по радио симфонию, хотя от свойств приемника зависит и качество передаваемых им звуков.

И чтоб уже больше не было надобности возвращаться к личности рассказчика, я думаю, что мне будет позволено одну страничку посвятить «радиоприемнику», в данном случае — самому себе.



Когда я оглядываюсь назад и сквозь призму истекших пяти десятков лет всматриваюсь в прошлое, мое первое вхождение в литературную среду представляется мне чем-то смутным, словно пережитым не наяву, а во сне. Литературное поприще, очевидно, мне было суждено. С двенадцати лет я уже припадал к «заветной» тетрадке и писал в ней стихи, по образцу тех, что были в хрестоматиях и вызубривались наизусть. Ни один поэт не проходил для меня бесследно. У меня были свои оды, басни, свои элегии, баллады, поэмы, но все они походило на чьи-нибудь, но в моих глазах это было не только не недостатком, но даже достоинством. Позже, когда я познакомился с произведениями Гоголя, я весь утонул в его обаянии, и стихи в моей тетрадке сменились прозой, в которой героями были Днепр, южные степи, украинская деревня и населяющие ее укрощенные потомки запорожцев, деревенские батюшки с клиром, и все это, как теперь вспоминается, было не что иное, как непоправимо испорченный Гоголь. Но все равно, сильнее этого влияния я никогда в жизни не испытывал. За дол-

45 ед. хр.). О Я. А. Назаренко см.: *Кумпан К. А.* Институт истории искусств на рубеже 1920–1930-х гг. // Конец институций культуры двадцатых годов в Ленинграде: по архивным материалам. М., 2014. С. 8–128; Назаренко Яков Антонович // Биографика СПбГУ. См.: <https://bioslohist.spbu.ru/person/3078-nazarenko-akov-antonovic.html> (дата обращения: 31.10.2024). Письма Я. А. и Н. А. Назаренко к Н. А. и К. А. Морозовым: АРАН. Ф. 543. Оп. 4. № 01576, 01277; эл. версия: <https://www.ras.ru/MArchive/Act.aspx?invid=5&id=3002> и <https://www.ras.ru/MArchive/Act.aspx?invid=5&id=3003> (дата обращения: 31.10.2024). Несмотря на вполне зловещую роль, которую Назаренко играл в Институте истории искусств, в памяти студентов, возможно благодаря иронии его оппонентов-формалистов, он отложился скорее комическим персонажем. Ср.: «Марксистский подход к литературе пытался внушить нам проф. Я. Назаренко. Подход у него безусловно был: самой же литературы, к которой применялся подход, он ведавать не ведал» (*Чуковская Л. К.* Прочерк. М., 2009. С. 377). Многим запомнилась эпиграмма: «В институте ИИИ / Обвалилась стенка. / Стенка, стенка, задави / Яшку Назаренко» (323 эпиграммы / Сост. Е. Эткинд. Париж, 1988. С. 51; авторство неизвестно, составителем названа «фольклорной песенкой»). Постоянно высмеивался и главный труд Назаренко — «История русской литературы XIX века» (Л.; М., 1925; 9-е изд.: М., 1931). И. Н. Потапенко в ней не упоминается.

ую жизнь я прочитал много книг и близко познакомился с множеством авторов, живущих и прежних, великих и малых, своих и чужих, но и теперь, когда у меня есть досуг и я хочу отдохнуть по-настоящему, я выбираю не Данте, не Шекспира, не Гете, не Байрона, не Пушкина и не Толстого, а раскрываю любую страницу Гоголя и наслаждаюсь.

После средней школы (семинария) я три года (в Одессе и в Петербурге) бродил по университетским аудиториям и лабораториям, разыскивая науки, которым мог бы предаться, слушал красноречивейших профессоров-юристов (Дювернуа, Градовского, Таганцева), совершал экскурсии в историю народов, вникал в тонкости классической филологии, упивался откровениями Сеченова, Мечникова, работал в химической лаборатории (Вериго).¹ Во всем этом было много интересного и даже захватывающего, но мне чего-то недоставало, для меня все было не то. Чувство неудовлетворенности не покидало меня. Свернул в сторону и ударился в музыку. Консерватория: пение, мечты о сцене, гармония, контрапункт... Тут было, пожалуй, увлечение, но ненадолго, до первого литературного выступления — самого скромного, какое только можно представить. И тогда — конец шатаньям, я, как Некрасовский бедняк, добежавший «вплоть до здания питейного», — «уж дальше не пошел».² Тут и остался на все полвека, и останусь впредь ровно столько, сколько мне суждено еще дышать воздухом и согреваться солнечными лучами.

I

В ту зиму — 1877 г. — умер Некрасов.³ Последние недели его жизни волновали всех, сколько-нибудь мыслящих, жителей столицы. Из уст в уста передавались сведения о ходе его болезни, о едва выносимых для человека невероятных страданиях. Книжки «Отечественных записок», в которых появлялись его последние небольшие отрывочные стихи, брались нарасхват. В читальнях составлялись на них очереди. И, читая их, все как-то съеживались и замыкались в себе. Стихи дышали отчаянием. В них слышался крик человека приговоренного и в то же время страстно жаждущего жить.

Их знали наизусть. Они все говорили об одном: о нечеловеческих муках, истязавших любимого поэта. Там, за каменной стеной трехэтажного дома, на Литейном проспекте. Этот дом и доныне остался таким же, в нем, с внешней стороны, ничто не изменилось, как будто это было вчера.⁴

Поэт словно чувствовал, что от него пламенно ждут вестей, и от времени до времени посылал нам коротенькие стихи, служившие как бы бюллетенями о ходе болезни. Мы узнавали его в пустынноике, с плеч которого пали вериги и «пустынноик мертвый стал».⁵ Он жаловался нам на то, что муки его бесценно продолжаются «двести уж дней, двести ночей», и наконец это страшное, потрясающее отчаянием обращение: «зачем же мучить человека! О, небо, смерть пошли скорей!»⁶

Говорили об операции, о возможности спасения, но никто не верил в это.

Но зато слишком многие верили другому. У Некрасова было несметное число врагов, и они не уставали распространять о нем всевозможные мерзости. Еще не просохли типографские краски, которыми на страницах радикальнейшего «Дела» была напечатана в манере «Кому на Руси жить хорошо» пасквильная поэма (помнится ядовитое обозначение: глава 777), наполненная невероятными гнусностями по адресу поэта (автор жив и доныне).⁷ Рассказывали о его личной жизни, залезали в интимные подробности, связывали его сравнительное благосостояние с игрой в карты, даже самой его болезни сумели придать двусмысленный характер...

Не этим ли, не склонностью ли обывательской охотно верить во все дурное, порочащее выдающегося человека, объясняется сравнительно небольшое число людей, пришедших проводить прах поэта на кладбище. Его популярность, влияние, общий горячий интерес к его болезни должны бы, казалось, привлечь сюда полстолицы, а явилось и шло за гробом несколько сотен.

Маленькая группа из четырех студентов-первогодников, тесно сплоченная усердными занятиями «самообразованием», были все пламенные поклонники умершего поэта. Мы, можно сказать, дежурили у его гроба (хотя тогда этого обычая не было), присутствовали на всех панихидах, правда держась скромненько, поближе к двери.

Печальное настроение, однако, не мешало мне смотреть во все глаза, стараясь, по виденным раньше портретам, узнать кого-нибудь из знаменитых писателей. В то время жили еще — Гончаров, Щедрин, Полонский, Григорович. И без сомнения, они приходили почтить память усопшего товарища, но я никого не узнал. Был только один эпизод, которого я до сих пор не могу объяснить себе. Было это так. В комнату, где лежал умерший, вошел человек довольно высокого роста с лицом нездорового пепельного цвета, обрамленным довольно длинной, но не густой бородой, сколько помню, без седин. Он остановился в нескольких шагах от покойного, тяжело вздохнул и заговорил каким-то странным прерывистым голосом. Слова были совершенно незначительные, обычные, какие говорятся у гроба близкими людьми: «Вот... и ты... ты ушел от нас», — это помню, а дальше мне не удалось уловить, потому что человек начал плакать, крепко прижимая руки к своей груди. В комнате водворилась глубокая тишина. Присутствующие затаили дыхание и расступились, как бы выдвигая его на первый план. Он подошел к покойному, перекрестился, наклонился над ним и поцеловал его в лоб. Потом вытер платком слезы и, как-то съежившись, вышел из комнаты.

— Кто это? — спросил я шепотом стоявшего рядом со мной господина с длинным носом, с узенькой остроконечной бородкой, в очках. Я видел его здесь не в первый раз и почему-то — должно быть, потому, что он чуть не со всеми здоровался, как знакомый, — решил, что он писатель.

— А вы не знаете? — с некоторым удивлением произнес он, повернув ко мне свое лицо. Сквозь блестящие стекла очков на меня взглянули — злые-презлые глаза, а в углах губ у него запеклась слюна. — Это — Достоевский... Да, Федор Михайлович, он сам. Пришел продемонстрировать свои чувства. Да-с. Вы думаете, — искренно? Ничуть не бывало-с. Злейший враг покойного, злейший враг-с... Всюду и всем распространял о нем одни гадости-с...

И он тут же, обдавая меня ядом своих глаз и брызгами слюны, шепотом, в котором было что-то змеиное, выложил передо мной целую кучу сведений о двух писателях, — живом и умершем, причем гнусности, приписываемые одному, с лихвой уравновесивались таковыми же, приписываемыми другому. Я чувствовал <себя> так, как будто мне наносили удары по голове. Ведь я был провинциал с душой, наполненной благоговением к литературе и ее творцам. Я не хотел не только верить, но и слушать его, и был неслыханно благодарен духовным особам за то, что они вошли и, наполнив комнату кадильным дымом, начали служить панихиду.

Потом я встречал этого господина. Он действительно оказался писателем, довольно ничтожным. Меня он не узнал, а я не имел ни малейшего желания возобновлять с ним знакомство. А был ли то действительно Достоевский, для меня осталось непроверенным — Достоевского я видел только в гробу.

Хоронили Некрасова в морозный, бесснежный день. Дул свирепый, сухой, холодный ветер. Длинный путь до Новодевичьего кладбища казался бесконечным. Явились студенты и учащиеся женщины. Были, конечно, и писатели, но я их не знал. Сколько помню, никаких формальных депутаций не было. За гробом шли с оглядкой, озираясь, — как бы чего не случилось. Отчасти, конечно, и эта «оглядка» была причиной того, что многие, и даже очень многие на похороны не пришли. Кому охота с кладбища отправляться куда-нибудь на Гороховую или на Фонтанку к Цепному мосту,⁸ а то и подальше?

Все это я понял потом, а тогда мне было грустно и обидно. Но волею судеб мне пришлось впервые соприкоснуться с литературным кругом в атмосфере кадильного дыма, в сопровождении добровольного чичероне, который, вероятно, и сам того не подозревая, отравил в моем сердце немало светлых заблуждений.

Я был одет в жиденькое летнее пальто, и нестерпимый — по крайней мере, для меня-южанина — холод не дал мне возможности дойти до кладбища, и происходило ли там что-нибудь, говорились ли речи, мне не от кого было узнать.

— — — — —

Как легко в нынешнее время сделаться писателем и как это трудно было тогда! Помню какую-то неистребимую робость, с которой я относился к литературному суду. Когда я представлял себе, что вот я снес в редакцию рассказ и через две недели (я знал уже, что таков казенный срок) прихожу за ответом, у меня при одном таком представлении сжималось сердце. И рисовалась такая картина: что редактор, или секретарь, или вообще какой-нибудь олимпиец, держа перед собою мою рукопись, читает мне строгую нотацию, настойчиво советуя теперь же, пока не поздно, бросить это дело и заняться чем-нибудь другим, более подходящим к моим способностям, и я стою, как провинившийся школьник, краснею и проваливаюсь. А иногда мне казалось, что в таких случаях просто поручают сторожу спустить с лестницы нахала. Должно быть, это и было причиной того, что я никогда не слышал такого рода нотации и ни разу не был спущен с лестницы. Писал я неукоснительно и ни на минуту не переставал верить в свое призвание, но написанного никуда не носил, отчасти из боязни краснеть и проваливаться, а еще и потому, что не знал, куда же, собственно, можно снести. Толстые ежешечники — об этом я не смел и подумать. Газеты рассказов не печатали, а раскрашенные юмористические еженедельники казались мне ниже моего достоинства.

Но для одного я сделал исключение. Он носил странное для литературного журнала название — «Маляр», — и юмористикой, кажется, не занимался,⁹ доверие же мое вызвал тем, что художественным отделом в нем заведовал Бажин.¹⁰ Имя это мне было знакомо. Я встречал его в толстых журналах, а это в моих глазах было наилучшим аттестатом. Я отнес туда рассказ и что-то еще длинное в стихах. Через две недели я был в редакции и, как ни уверял себя в том, что тощий еженедельник не стоит моих волнений, но когда передо мной предстал высокий и худой человек с серым лицом и с каким-то неуловимым дефектом в произношении, я почувствовал холод в спине, дрожь в коленях и что-то вроде морской болезни под сердцем. Это и был Бажин — сухой, с бесстрастным лицом и усталыми глазами. И голос у него был усталый, как будто перед этим он говорил пять часов кряду. Но это была не нотация, а довольно снисходительная критика, начавшаяся с признания, что у меня несомненно «что-то есть» и что проясляется оно не в прозаическом рассказе, а в стихах, и в результате вывод: мне рекомендуется работать и совершенствоваться в стихотворной форме. Но, несмотря на «что-то», творения мои я получил обратно как незрелые и требующие отделки.¹¹ Я ушел с чрезвычайно сложным чувством: я был польщен, разочарован и огорошен. «Что-то есть», это был чистый плюс, но рукописи вернулись ко мне в карман. «Отделка». Хм... легко сказать! Над этими вещичками я сидел месяцы, отделяя их вдоль и поперек, и вот они, заключая в себе утешительное «что-то», оказываются незрелыми и требующими отделки. Но в чем же она заключается — эта отделка? Кто научит меня этому искусству? Для музыкантов есть консерватория, для живописцев и скульпторов — Академия, для писателей — нет ничего. Нынче вопрос этот разрешен: есть курсы, не только в столицах, но и в провинциальных городах, и если у тебя имеется «что-то», иди туда и обучайся. Но в те времена обучаться было негде и каждому начинающему приходилось самому изобретать порох. Правда, к вопросу можно подойти и иначе: каждое дарование создает для себя свои формы, точно соответствующие его индивидуальным свойствам, и только в этих формах оно может вылиться в законченной полнотой. И кажется, что правда на стороне последнего подхода. Не видел я, чтоб курсы или академии сделали кого-нибудь писателем. Но вся плеяда наших корифеев, создавших русскую литературу, была самоучкой.

Замечание моего снисходительного критика насчет стихотворства нисколько не соблазнило меня — я просто не принял его во внимание и этим сберег немало времени и сил: я находил себя только в прозе.¹²

Я работал усердно. Все другие занятия, сперва студенческие, потом консерваторские, выполнялись мною поверхностно, не задевая меня глубоко. В литературную работу я уходил весь целиком, но, признаюсь откровенно, с каждой прошедшей неделей я все больше и явственней ощущал тревогу, которая становилась мучительной. Самая работа доставляла мне ни с чем не сравнимое наслаждение, но являлся вопрос:

приближаюсь ли я к цели? Совершенствуюсь ли? Становится ли моя работа более зрелой? Может быть, я иду по ложному пути и, наоборот, удаляюсь от цели? Товарищам я уже давно перестал показывать свои произведения. Они были премилые люди — двое юристы, а третий медик. Но они все хвалили, им все нравилось, и я видел, что в моем искусстве они ничего не смыслят. А своего критерия у меня больше не было — он свернулся после неудачи в «Маляре».

А кроме всего этого во мне зрела и предъявляла свои права потребность — не знаю, как назвать ее — публичности, что ли, жгучее желание видеть свое произведение напечатанным на страницах журнала. Тщеславие? Конечно. Оно неразлучно с искусством, и тот, кто уверяет, что он вполне довольствуется наслаждением творчества, лицемерит или заблуждается. Скрипач стремится на эстраду, живописец тащит свою картину на выставку, актер творит только на подмостках лицом к лицу с зрителем. Плата, гонорар, это — явления совсем другого порядка. Для одного они важны, для другого безразличны. Я был тогда беден, но вовсе не думал о них. И если б художник был лишен возможности отдавать свои создания на суд публики, его искусство зачахло бы.

В прежнее время у нас писали только богатые бары. Они не нуждались в плате и все же выпускали книги, создавали альманахи и т. п.

И мне начинало казаться, что я никогда не выйду из этого тупика. Это — то душевное состояние, когда люди, при отсутствии у них достаточного внутреннего стимула, чтоб прошибать лбом глухую стену, бросают навсегда заманчивые иллюзии и делаются адвокатами, бухгалтерами, зубными врачами, если они благоразумны, а нет, так пьяницами и морфинистами, а то и пулю в лоб пускают.

Со мною не случилось ни первого, ни второго, ни третьего. Меня выручила одна знакомая бестужевка (так назывались в просторечии слушательницы высших женских курсов, основанных проф. Бестужевым-Рюминым), которой я покаялся в своих литературных грехах и пожаловался на свое горе.¹³ Посмеявшись над моей трусостью, она предложила: «Выберите рассказ, который считаете наилучшим, а я снесу его... куда бы? ну — в „Отечественные записки“, что ли...»

Я с ужасом замахал на нее руками. «Отечественные записки», в которых подвизался только что умерший Некрасов, пишет Щедрин, нет, это было в моих глазах священное место, куда не смеет ступить нога смертного.

— Ну, так в «Вестник Европы», — предложила ни перед чем не останавливавшаяся бестужевка.

— Еще бы... Там печатается Тургенев...

— Но, послушайте! В каждом порядочном журнале печатается какой-нибудь хороший писатель, но из этого не следует, что вам пропадать надо... Ну, одним словом, давайте, возьмут — прекрасно, а нет, понесу в другое место.

— А вдруг скажут, что я бездарен?

— Ну, что ж. По крайней мере, вы это будете знать и займетесь чем-нибудь другим. В оперу пойдете — ведь у вас голос. Да, впрочем, вы им не поверите.

— Нет, я не поверю.

— Но, собственно — чего вы боитесь?

— Э, вы этого не поймете. Да я и сам хорошенько не знаю. Ну, вот — если найдут, что я бездарен, и узнают мое имя.

— Так можно же без имени... Хотите, я возьму на себя, скажу, что я автор, и даже подписаться могу. Уж я-то ничем не рискую.

— Подписать? Ну, нет, это уж извините... На это я не могу согласиться.

— Так вы же боитесь, что бездарность.

— Ну да, а вдруг...

— А вдруг гениально?

Моя позиция становилась глупой, и чтоб выйти из нее, я должен был согласиться. Найдено было нечто среднее: я подписываю рассказ инициалами, а внизу сообщаю адрес и имя, а она дает мне клятву, что никому, даже моим трем соратникам, ни слова об этом не скажет. Привел в порядок рукопись, тщательнейшим образом переписал

(машинок тогда еще не было) и сдал бестужевке, а она с легким сердцем отнесла в редакцию «Вестника Европы».

Вышло так, что бестужевка как раз в это время занялась репетициями, зарылась в лекции и, конечно, забыла о моем рассказе и обо мне. А я притаился даже перед самим собою и сделал вид, что ничего этого не было. И уж во всяком случае о том, чтоб я сам пошел справляться о рассказе, — не могло быть и речи, — ну, просто я не мог представить себе это.

Кроме того, мое внимание было поглощено одним новым обстоятельством — я получил первый урок. Дело в том, что мои товарищи были люди в различной степени обеспеченные. Компания по общественному положению была довольно пестрая. Мы явились в Петербург из четырех краев и представляли собой столько же различных типов. Копыткин — мягкий, женственный, склонный к лирическим мечтаниям, с добрейшей душой и наследственно большим сердцем.¹⁴ Он происходил из Херсона и был сыном военного генерала, который по неизвестным причинам застрелился и оставил большой семье долги и расстроены дела. Его кой-как поддерживала родня, и он не нуждался. Папчинский — отпрыск Екатеринославских помещиков, человек сурового склада, приехавший в столицу с гордым намерением сделаться ученым (что, впрочем, ему не удалось), хорошо обеспеченный, но аккуратный и строгий в тратах.¹⁵ Чудновский, не то с Кавказа, не то с Юго-Запада, из еврейской семьи, получал небольшую поддержку из дому и жил в обрез. Был заядлым медиком и целые дни проводил в своей академии, на Выборгской стороне.¹⁶ И, наконец, я — семинарист, в детские годы вкушивший прелести настоящей, ничем не прикрашенной бурсы до порки включительно.

Но нас спаивала молодость и общие духовные стремления, правда, весьма неясные, но благородные. Все мы, как и большая часть школьной молодежи того времени, каждый в своем месте, прошли одинаковую помимошкольную подготовку по никем не писанной, но еще более обязательной, чем школьная, программе: прочитали Белинского, Добролюбова, Писарева, кой-что из Герцена, «Что делать» Чернышевского,¹⁷ не раз держали в руках и трепетно прятали в ящиках парты страшный «Вперед», знали учение Дарвина, ну и, конечно, были знакомы с произведениями всех наших литературных корифеев, а половину стихов Некрасова знали наизусть. Все это давало нам право считать себя передовыми людьми и чуть что не революционерами.

Но мы на этом не остановились. Университетское учение было продолжением средне-школьного, каждый факультет имел свою надлежаще утвержденную программу. Но и та «помимо-школьная» тоже имела свое продолжение. Мы теперь были уже не просто четверо случайно сошедшихся товарищей, а маленькая «кружок», мы не читали, а «штудировали», писали рефераты, вели дискуссии. На все это была выработана определенная форма, которая словно носилась в воздухе и как бы при посредстве радиоволн передавалась от старших к младшим. Порядок был примерно такой: «История Французской революции» Луи Блана, «История цивилизации в Англии» Бокля, «Исторические письма» Миртова,¹⁸ которые штудировались с особенным углублением, «Основания политической экономии» Джона Стюарта Милля, в которых сугубое внимание оказывалось примечаниям Чернышевского, и, наконец, для завершения здания, «Капитал» К. Маркса.

Тут надо сказать откровенно: Бокль и Блан не превысили наш познавательный уровень, Миртова мы кой-как пополам с грехом разжевали, Милль с Чернышевским доставались нам с невероятным трудом, но все же от них кой-что в голове осталось, а на «Капитале» завязли окончательно и добросовестно сознались, что мы понимаем в нем только слова и, пожалуй, отдельные фразы, но для понимания целого были совершенно не подготовлены. Словом, «Капитал» оказался нам не по зубам, и мы сложили оружие. Недоштудировав и до половины первой части, мы отложили его *ad calendās graecas*,¹⁹ но эти календы, по крайней мере, для всей компании в целом, никогда не наступили. Таких «кружков», как наш, в столице были сотни. Но можно сказать, не рискуя впасть в ошибку, что 99% из них были порождены не страстным желанием учиться, знать и углублять свои знания, притом в определенном сознательно избранном направлении, а просто-напросто модой, установившей известный формальный

стаж, который надо было вписать в свой студенческий формуляр. Кружки составлялись из зеленых юнцов, только что приехавших из провинции, и были в огромном большинстве «дикие», т. е. лишённые взаимной связи и какого бы то ни было руководства. Но по мере того, как «зелень» опадала и юнцы превращались в зрелых людей, которые, приближаясь к окончанию курса, все свои стремления направляли на диплом, начинали налегать на лекции, держали экзамены, выходили «в люди», т. е. делались чиновниками, инженерами, адвокатами, врачами, от Бокля, Блана и Чернышевского в головах оставались лишь отдельные слова и фразы. Был у меня товарищ-украинец — Васильчук звали его — с самого начала скептик по отношению к кружкам. Он говорил:

— Это, брат, не более как головастики. Плавают они, резвятся, весело вертя своими длинными хвостиками, только до диплома, а как получают дипломы, хвостики сейчас же отпадают, головастики превращаются в лягушек и с большим удовольствием проводят жизнь на своих болотах. Это, брат, и называется: русская интеллигенция.

Может быть, один из тысячи отрывался от этой массы, углублялся в науку или шел «в народ», в подполье, и отдавал свои силы борьбе, которая в скором времени кристаллизовалась в мартовских 1881 года и последовавших за ними событиях.

Правда, в университете, в Технологическом институте и в Медико-хирургической академии случались волнения, устраивались сходки, их разгоняли, кой-кого забирали, высылали, а то и упрятывали подальше. Случалось это, по ошибке, и с совершенно «невинными» людьми. Но, как правило, это были люди, в той или иной степени уже соприкоснувшиеся с «подпольем» и сознательно вступившие в его ряды.²⁰ Остальные же только присутствовали, выполняя обязательный студенческий стаж.

Между профессорами и студентами стояла стена. О каком бы то ни было общении не могло быть и речи. Среди профессоров, особенно университетских, было немало людей, настроенных весьма либерально, даже радикально. Но это у них оставалось как-то само по себе. Нельзя, однако, забывать, что время тогда для русской общественности было убийственно мрачное. Просвещение находилось в руках активнейших обскурантов — Победоносцева и графа Дм. Толстого (министра народного просвещения), вскоре, с 1882 г., забравшего в свои руки и все «внутренние дела». За профессурой следили не меньше, чем за студентами, и всякое сближение между ними считалось крамольным и вело к крайне неприятным последствиям.

Значительно больше, чем кружки, объединяющую роль выполняли «землячества». Это были небольшие вольные организации, в которых участвовали уроженцы той или другой губернии или даже целого края, безразлично, в каком бы учебном заведении они ни состояли. Были землячества Киевское, Смоленское, Рязанское, Кавказское, Сибирское и т. д. Администрация косилась на них, но так как они преследовали цели взаимопомощи, то их терпели, пока в каком-нибудь из них не прорастали семена крамолы.²¹

Но, разумеется, ничтожными копеечными взносами своих участников землячества довольствоваться не могли и должны были изыскивать дополнительные средства. Каким же способом? Ну, понятно, единственным доступным, можно сказать, классическим способом, к которому, за отсутствием какой бы то ни было изобретательности, прибегают все: литературно-музыкальные вечера. Сперва эти вечера устраивались в зале Певческой капеллы, в котором сама капелла, служившая исключительно для высоких придворных целей, почти никогда не выступала.²² Зал был дешевый и брался с бою — нужно было записываться за месяц вперед. И чуть не каждый вечер здесь различные землячества добывали подобные средства. Выступали второстепенные актеры, малоизвестные или совсем неизвестные литераторы, а музыкантами и певцами являлись ученики консерватории. Исполнители работали исключительно ради славы, а значит — даром. Оплачивались только аккомпаниаторы, которые вообще за славой не гоняются. Билеты рассовывались по рукам. Нельзя было прийти в университет или в другой вуз, чтоб тебе не навязал билет распорядитель какого-нибудь дружеского землячества и не выудил из твоего кошелька полтинник. Но так как все эти вечера очень мало отличались один от другого и были скучны, то скоро всем надоели, и их отказы-

вались посещать даже даром. Стали искать какой-нибудь более привлекательной формы и нашли ее в виде «вечеринки».

Но стены придворной капеллы, разумеется, не могли терпеть этого рода развлечений, и пришлось действие перенести в более демократические места. Отсюда и началась «эпоха кухмистерских».

Как ни странно для нашего уха звучит сочетание этих слов, но не подлежит сомнению, что в течение известного времени кухмистерские делали своего рода эпоху. И слово «кухмистерская» здесь нужно понимать не в каком-нибудь метафорическом смысле, а в самом натуральном: те самые учреждения, в которых в дневные часы кормили обедами. Их клиентура состояла главным образом из студентов и курсисток, цены были дешевые и пища прескверная — то и другое доступно тощим кошелькам и молодым желудкам. Они ютились главным образом в районах, где помещались высшие учебные заведения. Вот они-то — наиболее поместительные из них — и открыли гостеприимно свои двери для взаимно-благотворительной деятельности землячества. «Вечеринки» устраивались во всех концах столицы, иногда одновременно. Наиболее популярной была кухмистерская Вишнякова, но где она помещалась, не помню, — кажется, в одной из рот.²³ Тут уже конкуренции не было, билеты не навязывались, а брались нарасхват, «залы» и все примыкающие к ним комнаты бывали переполнены. В чем же дело? Что так привлекало сюда молодежь обоего пола? Две вещи: буфет и танцы. А музыка, а пение, а литературные чтения? Они были, но остались, может быть, единственно потому, что без них и самые вечеринки было бы невозможно узаконить. «Танцевальный вечер», да еще с буфетом, «танцкласс», как тогда для приличия именовались такого рода учреждения, среди которых блистало еще не утратившее своей знаменитости заведение Марцинкевича,²⁴ где на почве более чем легких нравов сходились самые разнородные элементы, — это никоим образом не подходило для учащейся молодежи. Поэтому осталось вполне приемлемое название — «литературно-музыкальный вечер», а танцы уж как-то сами собой подразумевались.

В программе — те же ученики консерватории, те же второстепенные актеры и мало кому ведомые литераторы. В самой большой комнате сколачивалась эстрада, ставились рояль и столик со свечой и графином воды и выходили чтецы, певцы, музыканты и декламаторы. Публики обыкновенно было немного, да и та позевывала и нетерпеливо заглядывала в программу — скоро ли кончится?

Вот и последний номер. Уборка стульев, проветривание зала, а в это время при входе давка и необычайное оживление. Публика валом валит специально на танцы. Молодо, весело, влюбленно. За роялем появляется тапер (а иногда гремел и целый оркестр), и раздаются звуки вальса. Настоящая вечеринка открывалась, а с нею и буфет, и буйное веселье длится до утра.

Немало вышло отсюда счастливых, но большей частью наскоро сколоченных пар, под эгидой студенческой свободы объединявшихся «гражданским браком», впоследствии, когда с дипломами в руках вступали в служебные и общественные отношения, при удаче закреплявших его церковными узами. Но немало было разочарований и трагедий.

Когда удавалось залучить на вечеринку какого-нибудь настоящего писателя. Видел я здесь Н. В. Шелгунова и даже самого Н. К. Михайловского, уже тогда бывшего кумиром всей молодежи. Но им было не до веселья. Их окружали плотной стеной и буквально не давали им двигаться, в течение часов без конца выражая свой восторг и требуя от них крылатых речей. Но речи говорить было опасно. Кругом шныряли осведомители, от которых нигде не уберешься, и была опасность, как бы за самое невинное слово завтра не пришлось экстренно уезжать — самое близкое — в Выборг.

Между прочим, Н. К. Михайловскому приписывали фразу, пародирующую известное изречение Перона, который хотел отрубить голову всему человечеству, если бы она у него была одна.²⁵ Михайловский будто бы сказал: «Я хотел бы, чтоб у студенчества была одна голова, — я ее расцеловал бы». Впрочем, это изречение приписывали многим, и оно менее всего согласуется с тонким литературным вкусом Н. К. Не могу не упомянуть: изредка в качестве аккомпаниатора удавалось привлечь М. П. Мусоргского.²⁶

Но это был не простой аккомпаниатор. Его появление было целым событием, о нем предупреждали: «У нас будет Мусоргский». Гром приветствий раздавался, когда на эстраде появлялась его фигура в плотно застегнутом очень поношенном скюртуке, с вклокоченными волосами.

Он являлся слегка навеселе, а случалось, и изрядно, но это не мешало ему всегда быть на высоте. Скромный, тихий, молчаливый, он аккомпанировал всем и все, что бы ему ни предложили. Исполнитель не мог удивить его никаким враньем. Как бы он ни уклонялся от темпа, М. П. ловил его и водворял на место. Довелось и мне, тогда учившемуся в консерватории, петь под его аккомпанемент «Лесного царя» Шуберта. Но это приятное воспоминание омрачено другим, совсем неприятным: по причине сильного волнения я безнадежно путал в паузах, чем, вероятно, доставил М. П. огорчение. Впрочем, заметил это только он, а слушатели даже и не заподозрили и остались вполне довольны.

Но, конечно, не аккомпанементом Мусоргский собирал битком набитый зал. М. П. никогда не являлся один, а всегда в сопровождении своего любимца, студента-медика, а потом врача Ильинского.²⁷ Когда исчерпывалась программа, на эстраду выходил Ильинский в военно-медицинской форме и начиналась настоящая музыка. Ильинский обладал небольшим баском и, кажется, не пел во всю жизнь ничего, кроме произведений Мусоргского. Своим небогатым голосом он превосходно исполнял его своеобразные юмористические вещи.

Мусоргский оставался за роялем. Публика вставала с мест и придвигалась к эстраде. Ильинский пел «Савишну», «Семинариста», «Как по улице Варваринской...» и др., а М. П. вдруг из точного аккомпаниатора превращался в импровизатора, особенно в последней вещице, в которой он с изумительными находчивостью и разнообразием иллюстрировал различные моменты «Касьяна-именинника».²⁸

Теперь даже странно вспомнить, что автор «Бориса Годунова», «Хованщины», «Забытого», «Блохи» и сотни других гениальных созданий нуждался в каких-нибудь пятнадцати рублях, для приобретения которых выполнял совершенно неподходящую ему роль аккомпаниатора.

Завершением увеселительно-благотворительной программы каждого сезона были большие балы, устраивавшиеся студентами каждого вуза в пользу нуждающихся товарищей. Но мне кажется, что эти балы с обязательной «мертвецкой», где трупами лежали чрезмерно упившиеся товарищи, всем достаточно знакомы. Упомяну только о бале медиков, отличавшемся от других выступлением хора под управлением автора оперы «Князь Игорь» и других музыкальных произведений и в то же время профессора химии А. П. Бородина.²⁹ Интересно не столько выступление, сколько подготовка к нему. Она начиналась за несколько месяцев до бала. Всякий, кто владел или воображал, что владеет хоть каким-нибудь голоском и способностью схватывать мотив, в каком бы учебном заведении ни состоял, считал своим долгом в определенные дни после лекций тащиться на Выборгскую сторону. Студенты и студентки наполняли амфитеатр огромной химической аудитории. Внизу стоял рояль, за ним сидел сам профессор и, обливаясь потом, самоотверженно трудился над почти неразрешимой задачей — превращение случайных и разнородных элементов в стройное и гармоническое целое. Это удавалось не скоро, когда постепенно отпадали все дилетанты, являвшиеся сюда для свиданий или просто от безделья. Им надоело, и они уходили, а оставались настоящие любители. Из них-то и составлялся хор, который потом изумлял своей стройностью.

— — — —

Итак, я получил первый урок. Его добыл для меня каким-то необыкновенно сложным путем товарищ мой Копыткин. Добывать уроки в те времена было чрезвычайно трудно. Огромное большинство студентов жило впроголодь. Стипендии доставались немногим счастливым. За уроками гонялись, готовы были, не щадя дырявых подошв, бегать на противоположный конец города за гроши, вырывали их друг у друга и, что называется, сбивали цену.

У Копыткина были знакомства. Урок-то, собственно, был предложен ему, но он не нуждался и по-товарищески выдвинул меня. Но урок был особенный: требовались рекомендации и ручательства в благонадежности. Но он пошел напролом и уговорил кого-то, никогда меня в глаза не видавшего, рекомендовать меня и поручиться за мою благонадежность.

Однако, вышла заминка и даже целых три: первая была принципиальная. Урокодатель был не кто иной, как Болеслав Маркевич,³⁰ известный в то время обскурант, писавший реакционные романы в «Русском вестнике» Каткова.

— Но как же так? — вместо благодарности возразил я моему благодетелю. — Мы изучаем революционные книги, дошли даже до «Капитала» Маркса, я собираюсь сделаться писателем — уж, конечно, не реакционным, и вдруг урок у Болеслава Маркевича. Где же тут последовательность?

Но за меня принялись все трое, и им удалось убедить меня. Главный довод был тот, что когда дадут уроки, то не спрашивают о политических убеждениях урокодателей, а спрашивают — чему учить и сколько платят. Впрочем, убедить меня было нетрудно, так как я сильно нуждался в деньгах, а обскурант Маркевич собирался платить по 30 рублей в месяц, плата — прямо беспримерная.

Второе препятствие: у меня не было зимнего пальто, а дело происходило в феврале и стоял мороз. По улицам я ходил в пледе, что согревало довольно плохо, но зато считалось признаком передового направления. Да, в самом деле, это была своего рода «форма» для молодых людей радикального образа мыслей, и многие, желая во что бы то ни стало подчеркнуть и сделать для всех несомненной свою передовитость, напяливали плед поверх теплого пальто и в таком виде, явно страдая от жары, щеголяли по Невскому.³¹

Но нельзя же было ввалиться в квартиру Болеслава Маркевича, важного чиновника и ретрограда, в плед. Наверно, это произвело бы целый скандал. Но разрешилось просто: у того же Копыткина нашлось запасное пальто, даже с барашковым воротником.

Но было и третье, казавшееся с первого взгляда непреодолимым: нужно было подготовить мальчика во второй класс не то кадетского корпуса, не то Училища правоведения. Но при этом мальчик бегло болтал по-французски и только хромал в грамматике, я же в школе учился немецкому и не имел представления о французском языке. Отказаться от урока из-за такой пустячной причины казалось нелепым. И вот что было придумано и решено общими усилиями четырех дружественных голов: первое — Копыткин, получивший в качестве генеральского сына воспитание с гувернанткой-французской, внушает мне самые общие понятия о характерных особенностях французского языка. Второе: я покупаю первую часть учебника Игнатовича (был такой, очень упрощенный и удобный)³² и экстренно выучиваю наизусть тридцать параграфов, а ученику задаю пятнадцать. И так все время, с расчетом, чтобы я всегда знал на пятнадцать параграфов больше, чем он. И третье: так как произношение у меня могло быть только «нижегородское», я в присутствии ученика не произношу по-французски ни одного звука, а только поправляю его грамматические ошибки.

Приходится упомянуть еще и о моем постыдном малодушии: по причине плутовства с французским языком мне казалось, что мои глаза непременно выдадут меня, что в них будет написана вся махинация, и ее прочтает — кто хочет. И вот, вооружившись знанием тридцати параграфов Игнатовича и облачившись в теплое пальто с барашковым воротником, я еще прихватил очки с выпуклыми стеклами пепельного цвета, которые иногда носил дома слабоглазый Папчинский, и перед тем, как войти в шикарную квартиру Маркевича, надел их и таким образом спрятал за ними свою нечистую совесть.

Но дело обошлось совсем просто: обскурант хозяин — высокий сухощавый старик с изящными, но несколько жестковатыми манерами — принял меня в высшей степени любезно, выразил соболезнование по поводу слабости моих глаз, очевидно, не выносящих яркого света, а затем заговорил об ученике, о пробелах, на которые нужно обратить особое внимание, упомянул о глубокоуважаемом Викторе Михайловиче, блестящая

рекомендация которого (а я-то его и в глаза не видал) для него — более, чем закон, и заключил:

— Что же касается французского языка, то едва ли вы в нем очень сильны. Я ведь знаю, как его проходят у нас в школе. Так можете отложить его в сторону. Мальчик хорошо им владеет.

Что же это? Неужели он сквозь стекла пепельных очков увидел в моих глазах истину? Теперь уж я стыдился очков и, когда вошел в комнату для занятий, снял их и больше не надевал никогда в жизни.

Чтоб кончить с этим, прибавлю, что мальчика я подготовил куда следует: через три месяца он выдержал свои экзамены и мой урок кончился. Результатом был капитальный ремонт моего гардероба.

Возня с уроком до такой степени поглотила меня, что я и в самом деле забыл о своем рассказе. Да если б и вспомнил, то разве для того, чтоб признать его окончательно погибшим в редакционной корзине.

Но каково же было мое изумление, когда месяца через два, зайдя в читальню первого числа («Вестник Европы» до самой смерти М. М. Стасюлевича ни разу не опоздал выходом и, как говорили, по нем можно было проверять часы) и взглянув в «содержание» свеженькой книжки «В. Е.», я увидел название своего рассказа: «Феденька» и рядом две скромных буквы: И. П.³³

Я сказал: «изумление», но это, конечно, не то слово, и нет такого слова.

Я не буду описывать душевное состояние автора при виде напечатанной первой его вещи — оно было много раз описано. Хочется закричать от восторга, запеть что-нибудь развеселое, пройтись вприсядку, расцеловать соседа, но ничего этого ведь нельзя сделать в читальне, приходится переживать тихонько в одиночку, внутри. А кроме того, у меня было осложнение. Мой чистый восторг был отравлен.

Я торопливо разрезал листы там, где был мой рассказ, впился глазами в печатные строки, но увы, ничего не видел — туман застилал их, ядовитый туман, разъедавший глаза и чуть что не вызывавший слезы. И если б я был не в читальне, не на людях, а дома, один, пожалуй, заплакал бы.

«О, проклятая робость или попросту трусость! Вот напечатали и как скоро! Значит, без колебаний и сомнений. Десяток тысяч людей прочитают, может быть — не раз улыбнутся, будут тронуты. Родился новый писатель, — небольшой, конечно, но родился. Но кто же? Какой-то „И. П.“, какие-то две новые буквы... Положим, это все-таки мое, мое; родившийся новый писатель — это я. Но кто же это знает? Не могу же я каждому встречному объяснять: знай, мол, что такой-то рассказ принадлежит мне, И. П. Это не кто иной, как я. Или поместить где-нибудь в газетах письмо в редакцию, обращение к читателю... О, трижды проклятая трусость, благодаря ей я ограбил самого себя и несмотря на такую исключительную удачу, в сущности, остался в том же положении, в каком был раньше».

На другой день явилась бестужевка и вволю издевалась надо мной. Но это издевательство было совсем другого характера: в нем чувствовалось признание и уважение.

Был получен гонорар, притом по тогдашнему моему бюджету колоссальный: мне заплатили по 80 руб. за лист, а было чуть больше листа. Был устроен пир — с колбасой, с сардинками и даже с красным вином.

Я имел право считать себя писателем, но чувства удовлетворения не испытывал. «Тайный писатель, известен только трем товарищам и одной бестужевке», — с горечью говорил я себе. Литературный круг, казавшийся мне тогда чем-то обольстительным, желанным и непохожим на весь остальной мир, был для меня по-прежнему замкнут. Я никого не знал из этого мира, и мой злосчастный «Феденька», несмотря на столь блестящую свою судьбу, не мог помочь мне в этом. В редакциях, при новых попытках, я не имел права ссылаться на него как на прецедент.

И в самом деле он был злосчастный. Скромные две буквы наложили на него печать забвения даже в моих собственных глазах — нечто вроде судьбы незаконнорожденного (по тем временам), которого не захотел признать отец. При составлении сборников, при издании собрания сочинений о нем ни разу не вспомнили и он никуда не вошел. А меж-

ду тем, рассказ был хоть и зеленый, но вовсе не плохой. Феденька — деревенский гений. Он безногий, а значит и безработный. Все время его свободно, и это дало ему возможность развить все таланты: он скрипач на свадьбах, он слесарь и сапожник, превосходный охотник и рыбовод, он грамотей, любит выпить и по-своему поухаживать за деревенскими женщинами, всегда поет и всегда весел. Было рассказано просто, без затей и, должно быть, искренно и молодо. И взят-то он был целиком с натуры.

II

Прошло более двух лет. Многое изменилось. Наш кружок распался, товарищи разбрелись, хотя приятельская связь между нами осталась. Я продолжал накапливать исписанные листы, но делал это только в свободные часы в виде отдыха. Увлечением моим в эти годы была музыка. Я учился в консерватории, и иногда мне казалось, что это-то и есть мое настоящее призвание.

Единственной моей экскурсией в область литературы была удачная попытка поместить рассказ в газете Валентина Корша (кажется, «Северный вестник»).³⁴ Рассказ этот имеет маленькую историю. Я тогда жил в небольшой комнате с моим товарищем и другом К. И. Самборским, переведшимся из Одесского университета в медико-хирургическую академию. Бедняга болел туберкулезом, и это заставило его скоро переехать в Харьков, где он, кончив университет, умер. Но тогда мы жили вместе и очень нуждались. Как-то раз подошло два дня подряд, когда у нас буквально нечем было питаться. Я описал это событие в комическом роде и отнес в газету. Там рассказ понравился, его тотчас поместили, и полученный за него гонорар основательно поправил наши дела. Рассказ так и был назван: «Два дня».³⁵

Но на эту удачу я взглянул как на случайность и продолжал предаваться музыке. Но скоро это прошло. О моем пребывании в консерватории я еще буду иметь случай сказать подробнее. Теперь только скажу, что вся эта возня с пением, теорией, гармонией и т. п. (а у меня она была именно возней) однажды вдруг показалась мне ненужной суетой и бесплодной тратой сил и драгоценных лет. Во мне с удвоенной силой проснулись прежние страстные стремления, и я решительно перенес центр тяжести на литературу и опять начал искать дверь, в которую надо стучаться, чтоб попасть в храм, все еще для меня наглухо закрытый. И вот то, что не удалось сделать для меня «Феденьке», сделал случай, который и ввел меня наконец в гущу литературных кругов.

Случай был самый обыкновенный. Мои товарищи Копыткин и Папчинский раз в неделю по пятницам посещали семейство М., в котором в большом почете были музыка, литература и все другие виды искусства. Там они описали мои способности в том преувеличенном виде, как им самим это казалось. <М.> заинтересовались и настойчиво потребовали, чтобы я был приведен в дом. Я в таких случаях всегда начинал с сопротивления. Вообще в ту пору я был порядочный дикарь и чувствовал себя свободно только среди своих, хорошо знакомых людей. А чуть появлялся посторонний, я тотчас свертывался и замыкался в себя. Очевидно, во мне еще прочно сидел бурсак, до восемнадцатилетнего возраста не знавший никакого общества, кроме отцов в длинных рясах и кафтанах.

Семейство было довольно состоятельное, глава его занимал какой-то видный пост в частном земельном банке.

И первый натиск на меня со стороны товарищей был неудачен. Но когда они сообщили мне, что там бывает писатель Станюкович, которого они даже успели заинтересовать моей особой, я не мог устоять. Уже одно то, что это был писатель, для меня было бы достаточно, но кроме того, он носил фамилию Станюкович, это уже — писатель, так сказать, квалифицированный. Мне было лет 16, когда я прочитал его роман «Без исхода». Впоследствии, познакомившись с автором и узнав его досконально, я как-то захотел проверить свое юное впечатление и вновь перечитал этот роман. Увы, он оказался беспомощно слабым, тенденциозным произведением. Но тогда, в 16 лет, он произвел на меня огромное впечатление. В этом, конечно, нет ничего удивительного. Наши художественные стремления и вкусы не только не были развиты, но усердно

подавлялись литературой шестидесятых годов, когда Пушкин и его школа были взяты под жестокий обстрел. Если взрослые люди уже скептически относились к блестящей проповеди Писарева, то юнцы еще упивались ею. Нашей настольной книгой, которую приходилось тщательно прятать от инспекторов и всяких надзирателей, был роман «Что делать».

Словом — я согласился и в первую же очередную пятницу отправился к М. Были, кроме хозяев и нас, еще какие-то лица, ничем не проявлявшиеся и не оставшиеся в моей памяти. После знакомства я сел в сторонке и добрых полчаса хранил угрюмое молчание, глядя на всех исподлобья. В это время меня можно было принять за враждебно настроенного человека, в действительности же я переживал муки.

Представьте себе человека, который вышел на ораторскую трибуну и вдруг забыл все слова. Нечто подобное было и со мной. За столом (пили чай) шел оживленный разговор на текущую, хорошо знакомую мне тему. У меня в голове возникали мысли, они были нисколько не глупее тех, которые высказывались. Да и слова были, все было, но почему-то казалось, что, высказанные вслух, эти мысли будут серы, шаблонны, ничтожны.

Но так как мое молчание становилось неловким и даже тяжелым, и хозяева начали от времени до времени тревожно поглядывать на меня, может быть, боясь, не обижен ли я чем-нибудь, то чуткий Копыткин пошел мне навстречу. Он сел за рояль и взял несколько аккордов.

— Давайте-ка споем что-нибудь, — сказал он, обращаясь прямо ко мне.

Я встрепенулся, встал и быстро очутился около него, все ухватились за предложение. Пение, это была моя сфера. Я обладал хорошим голосом, а Копыткин (он играл по слуху без нот) часто аккомпанировал мне, и я начал петь и пел подряд все, что знал. Этим разрядилась атмосфера.

Во время пения я видел, что в комнату вошел кто-то новый, хозяева поднялись, очевидно, для приветствия, но он сделал рукой успокоительный жест, на цыпочках прошел к креслу в отдалении и сел. Я подумал: «Не Станюкович ли?» И в голосе моем почувствовалась дрожь. Представитель писательского мира, человек от литературы. Когда он вошел в комнату, то для меня вместе с ним вошел и этот, столь настойчиво взыскуемый мною мир. Я почувствовал близость его, и меня охватило волнение.

Я и петь стал неохотно, через силу, и, должно быть, испортил прежнее благоприятное впечатление. Тем не менее, когда я кончил, раздались аплодисменты. Но это так уж полагается.

Меня познакомили с новопришедшим, который в самом деле оказался Станюковичем, Константином Михайловичем. Человек в цветущем возрасте, он был строен и обладал красивой головой с светлыми, слегка вьющимися волосами. Лицо его, с небольшой русой бородкой, было привлекательно, глаза умные, с большой дозой хитрости, на губах — всегда чуть насмешливая складка.

Он мне понравился, но как-то внешне — я в первую же минуту почувствовал к нему холодок, так и оставшийся на все будущее время. В манере говорить — хотя и мягкой, и сдержанной — была какая-то непререкаемость, безапелляционность и очень много самоуверенности.³⁶

Он усадил меня близко около себя и заговорил тихо и интимно сперва о моем голосе и пении, а потом перешел на литературу, жаловался на застой в беллетристике и отсутствие художественных дарований. «Старики забастовали и ничего не пишут, а молодые не появляются. Журналу не с чем показаться в публику». Перешел к «Феденьке». Оказалось, что мои товарищи всучили ему оттиск, и он прочитал его. Отзыв: «Конечно, это очень зелено. Но, по-моему, тем лучше. Вы можете писать. Приносите что-нибудь — поместим в „Деле“.³⁷ Только у нас денег еще мало. Платим потом и кровью. Вы наверно нуждаетесь? Так прихватите какую-нибудь вещичку... Что-нибудь, безразлично. Мы Полетику возьмем за бока. В „Молву“.³⁸ У вас ведь, наверно, большой запас... А он ровно ничего не смыслит».

«Ого! это уже пахнет приглашением». Нет, «Феденька» не сплеховал и делает свое дело.

И в заключение: «А самое лучшее — приходите к нам запросто вместе с вашими товарищами. Тогда и поговорим. Да чтоб не откладывать — в воскресенье — послезавтра. Обедаем в 6 часов».

Я, кажется, поклонился и не особенно членораздельно поблагодарил. Впрочем, он, должно быть, и не слышал. Выполнив все обязанности покровительства «достигшего» по отношению к держащему, он покинул меня и присоединился к обществу. Уже за столом раздавался его несильный, а даже скорее нежный, и в то же время в высшей степени авторитетный голос. Он конфиденциально сообщал о волнениях среди рабочих на одной из петербургских фабрик, и это было страшно интересно — мои уши тянулись, чтоб слушать и не проронить ни слова. Но я слишком был поглощен своим, мое сознание было перегружено так внезапно и так щедро посыпавшимися на меня перспективами. Признание, почти приговор: «Вы можете писать...» Беспрепятственное вхождение в «Молву», которой я, признаться, ни разу не держал в руках. «Принесите что-нибудь — поместим в „Деле“». Так просто? Каменная стена вдруг сама собою расступилась? И наконец приглашение — бывать запросто. Все это, как некий золотой груз, придавило меня, и я сидел в состоянии какого-то полудиотского очарования.

За столом уже происходил спор — сдержанный по внешности, но довольно горячий. Я прислушался к нему. Глава дома М. хотя и значился в общественном мнении либералом, но, очевидно, в качестве банковского воротила, по поводу волнений рабочих высказался отрицательно, мотивируя, впрочем, лойяльным <так!> сожалением, — что, мол, это поведет только к новым жертвам. И он не понимал, почему эти жертвы должны приносить именно рабочие, а мы, интеллигенты, сидя в безопасном месте, тихонько аплодируем и поощряем их.

Станюкович с своей саркастической усмешкой мягко, но авторитетно уличал его в лицемерии и, кажется, довольно победоносно. Но я не мог вникнуть и вообще улавливал их спор поверхностно. Я жил в новом мире надежд, на пороге их осуществления, и неуклонно промолчал до конца вечера.

С этой встречи, можно сказать, — я пошел в люди, не то чтобы очень, — шаги, которые я делал, были чрезвычайно скромные, но все же они были шаги вперед.

— — —

Да, в самом деле, в тот смутный период моего участия в литературе встреча с К. М. Станюковичем была для меня толчком, от которого я двинулся и пошел, правда не прямой, а какой-то зигзагообразной линией, то двигаясь вперед, то возвращаясь обратно. Меня словно бросало из стороны в сторону какое-то незримое течение. В моей жизни не было ни определенного плана, ни цели. Моя затаенная цель, конечно, не перестала существовать, но она сделалась в буквальном смысле «затаенной» и спряталась так глубоко, что ее и отыскать было невозможно, цель — стать настоящим писателем — большим или малым, это уж другой вопрос (там видно будет!), но во всяком случае, заслуживающим это звание. Я сделал бесконечное множество знакомств, я постоянно был в человеческой гущине и, кажется, ни одного вечера не провел дома.

Я хотел сказать: но все по порядку, да дело в том, что как раз порядка во всем этом и не было. Все как-то выходило случайно, и все убеждало меня, что случайность в нашей жизни играет огромную роль.

Но когда я оглядываюсь на этот короткий период моей жизни, то именно в этой беспорядочности я вижу большой для себя плюс. В сутолоке пообтерлись, пообтесались мои угловатости, я вплотную освоился и сроднился с новым кругом, казавшимся мне каким-то недосыгаемым. А какое множество типов и характерных черт и сцен прошло передо мной и оставило яркие отпечатки в моем сознании, какой богатый фонд для будущей работы!

Теперь, после той встречи с Станюковичем у М., я уж не дал и передохнуть моим товарищам, настаивая, чтобы они вели меня к нему, в первое же воскресенье. Для них это было простое хождение «в гости» — да они уже и бывали там раза два, — а для

меня, о! я смотрел на это как на начало новой эпохи в моей жизни. И два долгих вечера, вернее, две ночи, потому что я сидел в своей миниатюрной комнате в пятом этаже огромного дома Лихачева на Екатерининском проспекте,³⁹ сплошь состоявшего из отдельных комнат, которых было несколько сотен, до пяти часов утра, давая последнюю отделку двум выбранным из кучи рукописей рассказам — один для «Молвы», другой для «Дела». Я буквально дрожал над ними. Все казалось мне неудачным: не те слова, не те обороты. Все хотелось изменить, но лучшее не приходило в голову. Но уж все равно, это надо. Хорошо или дурно, но это нарушит застой в моей жизни и сдвинет меня с мертвой точки.

Всю ночь я занимался тщательной перепиской моих несовершенных созданий, а в воскресенье мы были в Манежном переулке у Станюковича.⁴⁰

С очаровательной семьей Константина Михайловича я очень скоро дружески сблизился, и она стала для меня оазисом, в котором я спасался от бессмысленной сутолоки богомного существования.⁴¹ Но именно с семейством, а не с ним самим. Сам он был человек в высшей степени доброжелательный и отзывчивый, охотно и предупредительно оказывал людям всевозможные услуги, пользуясь своими связями в двух совершенно противоположных мирах.

По происхождению он и жена его, Любовь Николаевна, примыкали к высшей флотской аристократии. Адмиралы Станюкович и Арцеулов в свое время занимали видное положение во флоте.⁴² Сам он тоже учился в морском корпусе и начал службу во флоте, откуда, под влиянием бурливших в то время в обществе новых идей, вышел в отставку в чине лейтенанта. «Отставной флота лейтенант» — так значилось у него в паспорте и так иногда в шутку он рекомендовался. И хотя он по своему направлению стоял в резко враждебной позиции по отношению к этому кругу, но связи там — родственные и другие — у него сохранились, он охотно прибегал к ним — не для себя, а для других, и ему нередко удавалось смягчить участь того или другого из административно-ссылаемых или оказать другую услугу.

Воспитанный в адмиральной семье и в кадетской среде, а потом побывавший в десятках городов Европы, Америки и других стран света, он превосходно знал языки, много видел и по своим привычкам и симпатиям был гораздо больше европеец, чем русский.

Но несмотря на его многолетнее пребывание в литературном кругу, уже почтенный литературный стаж и тесную дружескую связь с людьми крайнего демократического направления, в нем сохранилось очень много от «лейтенанта флота» или, вернее, от кадета. Я не знаю, как назвать это, и беру наиболее подходящее слово — легкомыслие.

Как писатель, по своему художественному дарованию он занимал определенное, но все же довольно скромное место, но когда вы с ним говорили, то, несмотря на его крайне изысканную любезность, вы чувствовали, что он смотрит на вас свысока, как избранник на обыкновенного смертного. Поэтому при нем люди ощущали какую-то неловкость и часто не верили в его искренность, даже тогда, когда для этого не было никаких оснований. Но самой несчастной чертой его характера была слабость, которую я не умею назвать иначе, как революционным снобизмом. Было естественно, что он гордился своими связями среди революционных деятелей дома и за границей, но он хотел, чтоб об этом предмете его гордости знали все, и потому любил в разговоре цитировать имена, о которых лучше было бы умолчать, и каждому тихонько доверительно сообщать о фактах, встречах, а иногда, если ему удавалось узнать, и о предстоящих событиях, которые нужно было хранить в глубочайшей тайне. Помню я, в «Деле» некоторое время помещались подписанные псевдонимом статьи Льва Тихомирова, тогда еще видного революционера и в высшей степени нелегального человека.⁴³ Совершенно ясно, что при тогдашнем режиме, при необычайной зыбкости почвы, на которой держались журналы левого направления, а особенно такой заподозренный журнал, как «Дело», подобный факт нужно хранить за двенадцатью замками. И Станюкович, разумеется, это знал, как и то, что за Тихомировым была слезка и что открытие этого факта могло погубить и автора статей, и журнал, и его самого. Но «революционный сно-

бизм» был в нем сильнее даже чувства самосохранения, и он, по обыкновению прищурив левый глаз, с конспиративно-таинственным видом каждому на ушко сообщал «тайну», и скоро о сотрудничестве Льва Тихомирова в «Деле» знал весь литературный мир, а уж конечно и те, кому знать не надлежало.

Как раз в этот период мне как-то раз нужно было повидаться с ним, и я зашел в редакцию. В кабинете редактора сидел некто (помнится, глубокий брюнет с раздвоенной бородой). Станюкович познакомил нас, назвав фамилию, которая значилась под статьями. Казалось бы, этим формальным актом вежливости дело и должно бы кончиться. Но когда брюнет простился и вышел, он, выждав минуту и понизив голос, сообщил: «Знаете, кто это был? Знаменитый Лев Тихомиров, которого...» и т. д.

Нужно заметить, что мое знакомство с ним было не столь давнее, и оказывать мне такое исключительное доверие у него не было достаточных оснований. Я думаю, что этот «снобизм» и был отчасти причиной его ареста, разорения, ссылки и гибели журналиста, на этот раз окончательной.⁴⁴ Ведь сам он никогда не был активным революционером, а самое большее, как теперь принято говорить, «попутчиком».

В то первое посещение, когда я с Копыткиным и Папчинским явился в его дом, я ничего этого еще не понимал и смотрел на него снизу вверх, как на существо высшего порядка. И тут повторилась та же история, какая случалась со мной всякий раз, когда я попадал в незнакомое общество. За обедом шел оживленный разговор, в котором свободно принимали участие все: мои товарищи, хозяин, хозяйка, даже девочки, особенно старшая — Наташа, лет 12-ти, что не мешало ей иногда высказывать недетски обобщенное мнение. А я молчал и только улыбался, наклоняя голову, когда мне что-нибудь предлагали. Тысячу раз я собирался вступить в разговор, у меня в голове были готовые возражения то тому, то другому, возникали и собственные взгляды, казавшиеся мне существенными, но мой орган речи, увы, отказывался произносить их, словно был парализован.

По всей вероятности, желая как-нибудь раскатать меня, ко мне обратилась Любовь Николаевна в высшей степени дружественным тоном:

— А вы — такой угрюмый и все молчите... Мне кажется, что вам у нас скучно?

Я запротестовал:

— О, что вы? напротив, мне... Мне очень интересно...

Тут ко мне повернулся сидевший рядом Константин Михайлович и посмотрел на меня своим усмехающимся взглядом.

— Я знаю, почему он молчит. Сказать?

Я почувствовал, что в том, что он скажет, будет для меня нечто очень неприятное. Но он смотрел на меня в упор, да и положение было такое, что никак нельзя было отклонить его предложение.

И я ответил: «Скажите, Константин Михайлович».

— Только не сердитесь. Это — от слишком большого самолюбия.

— Ну, Костя! Что за пустяки ты говоришь! — воскликнула Л. Н., по-видимому предугадывавшая его мысль и желавшая отвести от меня эту чашу.

— Нет, я ведь потому, что сам испытал это. Когда я еще был лейтенантом, я уже чувствовал призвание к литературе и, забравшись в свою каюту, строчил тихонько, втайне от всех. И вот, когда, бывало, соберутся товарищи и идет болтовня, — самая обыкновенная, с шутками, анекдотами, ну и, конечно, скабрзностями, с глупым смехом, без претензий, — я болтаю больше всех, и хохочу громче всех, но вот вошел командир — он был у нас добряк и весельчак и любил молодое общество, или кто другой из старших — все болтают по-прежнему, а я как рыба. Только соберусь вмешаться, как вдруг словно кто одернет меня внутри — молчок. А? У вас тоже так? Ну, вот видите. Долго я не понимал и мучился: неприятно, знаете, выделяться на фоне общей веселости. Как-то зашел к нам Кривенко, капитан второго ранга, посидел полчасика и говорит: а что он у вас — обет молчания на себя наложил, что ли? Я чуть не провалился. А потом товарищ один — толковый малый, он и сейчас служит во флоте и в адмиралы метит — сказал мне: я полагаю, Костенька, это от того, что ты хочешь во что бы то ни стало быть умным. Мы просто болтаем, а тебе надо, чтоб непременно умное изречение

вышло. Я разозлился, выругался, а потом, подумавши, пришел к заключению, что это так и есть. Ну, что ж, верно я говорю?

Я покраснел, но все же почел нужным ответить:

— Верно, только отчасти: не умным, а наоборот — в таких случаях я чувствую себя всех глупее...

— Ну, так это же только кокетство с самим собой, а на поверку выходит одно и то же.

В конце концов, я должен был признать, что он, а с ним и будущий адмирал — правы.

С Л. Н. и детьми нас сближала музыка. Л. Н. была прекрасная музыкантка. Рояль не представлял для нее никаких трудностей. Весь мой репертуар нашелся среди ее нот, и мы тотчас после обеда принялись за концерт, и в этой части, могу сказать, я имел успех и вполне загладил свое молчание.

Перед уходом я не особенно уверенно и не без внутреннего трепета вручил хозяйну свои два рассказа, но он принял их с такой простотой, как будто дело шло о чем-то несомненном и решенном.

— А, вот и отлично! Кстати, завтра я буду в «Молве» и отдам Полетике, а другой во вторник передам Бажину.

— А разве Бажин... ведь он в «Маляре», — возразил я.

— Ну, какой там «Маляр»? Он давно уже погиб от истощения. Бажин у нас в «Деле» заведует художественным отделом.

«Беда, — подумал я, — опять поведет речь о незрелости и о недостатке отделки...» Но опасения мои были напрасны. Оба рассказа одержали победу. «Молва» напечатала дня через три. Станюкович повел меня в редакцию, познакомил с В. А. Полетикой, который наговорил мне кучу любезностей и вообще отнесся ко мне с отеческой теплотой. Впрочем, «Молва» скоро была закрыта, и я больше никогда не встречался с ним. Рассказ был подписан, кажется, теми же скромными буквами «И. П.», и я о нем теперь не имею никакого представления. Смутно припоминаю, что он был из быта духовенства и что героями его были мой отец и мать. А может быть, и не так.⁴⁵

Когда же я в конце недели явился в редакцию «Дела», там ждал меня настоящий сюрприз: мой рассказ, называвшийся «Семейка» и смело подписанный моим полным именем, уже находился в наборе, а Бажин пожал мне руку как старому знакомому, и не было уже и помину о «незрелости» и недостатке отделки. «Черт возьми, — подумал я, — неужели же я созрел?»

Впрочем, я не обольщался. Все, что из моих писаний было напечатано в те годы, не доставляло мне ни малейшего удовлетворения. Нет, если я и «созревал», то этот процесс происходил во мне чрезвычайно медленно. В «Деле» были напечатаны еще рассказ и целая повесть («Новый»).⁴⁶ Другая повесть была помещена в «Вестнике» Евр<опы> («Святое искусство»).⁴⁷ Мне, очевидно, везло. Но ни одно из этих выступлений не было замечено критикой, я оставался в тени. И каждая «победа» вместо естественной радости внушала мне страх. Не ошибся ли я в выборе дороги, не суждено ли мне всю жизнь оставаться в рядах многочисленных литературных ненужностей, которых отмечают только в кратких некрологах, да и то не всегда?

¹ Профессора Н. Л. Дювернуа, И. М. Сеченов, И. И. Мечников и А. А. Веригу преподавали в Новороссийском университете в Одессе; первые двое (с 1881 и 1876 годов соответственно), а также А. Д. Градовский и Н. С. Таганцев — в Петербургском университете.

² Из стихотворения Н. А. Некрасова «Филантроп» (1853).

³ Н. А. Некрасов умер 27 декабря 1877 года.

⁴ Последние 20 лет жизни Некрасов провел в доходном доме А. А. Краевского (Литейный пр., д. 36); в настоящее время там располагается Мемориальный музей-квартира поэта.

⁵ Возможно, имеется в виду рассказ «О двух великих грешниках» из поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Глава «Пир на весь мир», в которую он входит, была написана в 1876 году; публикация в «Отечественных записках» (1876. № 11) запрещена цензурой; текст получил известность в нелегальных списках.

⁶ Цитаты из стихотворения «Зине» и «Вступления к песням 1876–77 годов», впервые напечатанных в «Отечественных записках» (1877. № 1).

⁷ Имеется в виду пародийный памфлет «Восхититель. Журнал поэзии, беллетристики, философии, политики, переписки, наук, искусств и восхищения», написанный Виктором Петровичем Бурениным (1841–1926). Среди «материалов журнала» была и пародийная глава «Барин» под общим заглавием: «Кому на Руси жить хорошо (Из тысячи пятой части)» — и с подзаголовком: «Глава 7,777,777»; подпись: «Н. Некрасов-Ложногласов» (Дело. 1875. № 1. Отд. 2. С. 145–156).

⁸ В конце 1877 года дом 2 по ул. Гороховой был передан в ведение петербургского градоначальника Ф. Ф. Трепова, разместившего в нем в том числе и «Отделение для производства дел по охранению общественного порядка и спокойствия» (будущее Охранное отделение). В бывшем особняке В. П. Кочубея (наб. Фонтанки, д. 16; недалеко от Пантелеймоновского, или Цепного моста) до 1880 года размещалось III Отделение с. е. и. в. канцелярии, а с 1880 года — Департамент полиции.

⁹ Журнал «Маляр» выходил в Петербурге в 1871–1878 годах, издатель — художник Адриан Маркович Волков (1827–1873), с 1873 года — его вдова Агриппина Александровна. Память подвела Потапенко: «юмористика» в журнале была; до 1876 года он выходил с подзаголовком: «Журнал художественно-карикатурный», в 1877–1878 годах — «Журнал юмористический с карикатурами».

¹⁰ Бажин Николай Федотович (1843–1908) — писатель, журналист.

¹¹ В анкете для Ф. Ф. Фидлера этот эпизод описан несколько иначе: «Живя в Петербурге, уже студентом, послал рассказ в стихах и прозе в редакцию „Маляра“ — полуюмористический журнал под редакцией Божина <так!>. Божин лично дал ответ, что проза у меня лучше, чем стихи, что следует работать, но печатать рано» (Первые литературные шаги: Автобиографии современных русских писателей. С. 67–68).

¹² В 1881 году Потапенко выпустил сборник стихов «Думы и песни» под псевдонимом «И. Бездольный». Цензурное разрешение от 17 января 1881 года.

¹³ Санкт-Петербургские высшие женские курсы были открыты в 1878 году; первым директором был утвержден профессор университета историк К. Н. Бестужев-Рюмин, из-за чего курсы получили неофициальное название: «Бестужевские». Возможно, в данном случае имеется в виду Елена Николаевна Потапенко (урожд. Лампси; 1864 — ок. 1927), слушательница историко-филологического отделения курсов (выпуск 1886 года; см.: Бестужевка в цифрах: к 130-летию юбилею Санкт-Петербургских Высших женских курсов (1878–1918 гг.). СПб., 2008. С. 37), жена И. Н. Потапенко с 1878 года; брак оказался непрочным, супруги вскоре расстались, не оформив развода.

¹⁴ Возможно, Александр Николаевич Копыткин (1858 или 1859–1902), в 1879–1880 годах студент историко-филологического факультета Петербургского университета; отец поэта Сергея Александровича Копыткина (1882–1920).

¹⁵ Вероятно, Павел Самсонович Папчинский (1858 — после 1906) — выпускник юридического факультета Петербургского университета (1883); впоследствии служил по Министерству юстиции; депутат I Государственной Думы, кадет.

¹⁶ Имеется в виду Медико-хирургическая академия (с 1881 года Военно-медицинская), главное здание которой находится на Выборгской наб. у Литейного моста.

¹⁷ Здесь и далее название романа неточно; правильно: «Что делать?».

¹⁸ Псевдоним П. Л. Лаврова.

¹⁹ До греческих календ (*лат.*) — ироническое выражение, в значении «после дождичка в четверг» или просто «никогда», приписанное Светонием императору Августу.

²⁰ Вписано от руки поверх зачеркнутого машинописного: «на почву борьбы».

²¹ Ср.: «Еще с позапрошлого года учащаяся молодежь для взаимной помощи в материальном отношении начала группироваться по так называемым „землячествам“, т. е. вятчи сходились с вятчанами, нижегородцы с нижегородцами и т. д. Это было уже давно известно и учебному, и полицейскому начальству, но так как, с одной стороны, „землячества“ не представляют чего-либо хоть сколько-нибудь „противозаконного“, на что указывает и самый способ группировки по местностям, и так как, с другой стороны, нельзя же было запретить студентам и студенткам знакомиться между собой <...> и помогать друг другу в нужде, то начальство до сих пор и оставляло их в покое» (Народная воля: Социально-революционное обозрение. № 3 (1 января 1880 года); цит. по: Литература партии «Народной воли». М., 1907. С. 110).

²² Здание Придворной певческой капеллы — наб. Мойки, д. 20.

²³ Кухмистерская И. М. Вишнякова находилась в д. 4 по Бассейной ул. (ныне ул. Некрасова), т. е. в соседнем доме с последней квартирой Н. А. Некрасова. «Роты» — имеются в виду улицы между Московским и Измайловским проспектами, называвшиеся так по бывшему расквартированию на них Измайловского полка; с 1923 года — Красноармейские (с сохранением нумерации от 1-й до 13-й).

²⁴ Заведение искусственных минеральных вод с залогом для танцев принадлежало К. М. Марцинкевичу и размещалось в доме на углу ул. Гороховой и наб. Фонтанки (д. 57/81) у Семеновского

моста. Заведение получило скандальную известность из-за царивших там весьма вольных нравов; слово «мардинки» употреблялось наравне с «минерашками».

²⁵ Светоний (на которого уже второй раз опирается Потапенко) приписывает Калигуле мечтательное восклицание: «О, если бы у римского народа была только одна шея!»

²⁶ Модест Петрович Мусоргский (1839–1881) во второй половине 1870-х годов вышел в отставку и постоянных доходов не имел, перебиваясь случайными заработками и помощью друзей. В феврале 1881 года с приступом белой горячки был помещен в Николаевский военный госпиталь, где и скончался 16 марта.

²⁷ Ильинский Владимир Никанорович (1854–1890) — выпускник Военно-медицинской академии, впоследствии железнодорожный врач; певец-любитель; его сын Игорь Владимирович Ильинский (1880–1937) был директором музея в Ясной Поляне, дочь Нина (1884–1971) была замужем за Г. В. Вернадским.

²⁸ Имеется в виду «Песня о камаринском мужике», названная здесь по первой строчке: «Как на улице Варваринской...» (текст Л. Н. Трефолева). Именины героя песни Касьяна — 29 февраля.

²⁹ Александр Порфирьевич Бородин (1833–1887) занимал должность профессора Медико-хирургической академии с 1862 года.

³⁰ Маркевич Болеслав Михайлович (1822–1884) — писатель, литературный критик, публицист; камергер (1866), действительный статский советник (1868).

³¹ Ср. слова некоего богатого господина, к которому студент пришел наниматься в качестве учителя: «„По пледу узнаю, что вы истинный студент. Хаживали, хаживали и мы когда-то в пледах!“ Он даже вздохнул: „Ах, было время! А знаете ли, я всегда находил, что плед — это самое удобное одеяние для зимы! Право!“» (*Потапенко И. Н. Два дня // Потапенко И. Н. Записки старого студента. СПб., 1899. С. 23*).

³² *Игнатович В. С. Концентрический учебник французского языка, сравнительно с русским. Курс элементарный, состоящий из 3 частей. СПб., 1870–1871; впоследствии многократно дорабатывался и переиздавался; последнее, 15-е издание — 1914.*

³³ *И. П. Феденька: Очерк из южно-русского быта // Вестник Европы. 1881. № 1. С. 145–167.*

³⁴ Скобки и слово «кажется» вписаны от руки.

³⁵ В анкете для Ф. Ф. Фидлера Потапенко указал, что рассказ был напечатан «в газете Берса (кажется, в «Русской правде»)», «приблизительно в 1873 году» (Первые литературные шаги: Автобиографии современных русских писателей. С. 68; очевидные ошибки: «Берс» вместо издателя Д. К. Гирса, а также «1873» год, — следует отнести на неразборчивость почерка Потапенко). Обнаружить эту публикацию не удалось. Впоследствии рассказ был перепечатан в сборнике «Записки старого студента» (СПб., 1899). Сосед героя назван Каллистратом Ивановичем.

³⁶ Далее вычеркнутое карандашом уточнение в скобках: «как я потом убедился, мало обоснованной».

³⁷ Журнал «Дело» выходил с 1866 года под ред. Г. Е. Благосветлова. Константин Михайлович Станюкович (1843–1903) в 1870-е годы стал в нем постоянным автором, после смерти Благосветлова (ноябрь 1880 года) вошел в редакцию, а с 1883 года стал руководителем и владельцем журнала.

³⁸ Предприниматель и издатель Василий Аполлонович Полетика (1822–1888) в 1874 году приобрел газету «Биржевые ведомости» и в 1879 году преобразовал ее с новым названием: «Молва»; в марте 1881 года газета была закрыта на месяц и по истечении его не возобновилась.

³⁹ Пятиэтажный доходный дом Лихачева стоял на углу Екатеринбургского (теперь Римско-Корсакова) и Вознесенского проспектов; снесен в конце 1970-х годов.

⁴⁰ Станюковичи часто меняли квартиры, и это топографическое указание могло бы оказаться одновременно хронологическим, однако адреса в Манежном переулке установить не удалось.

⁴¹ Жена К. М. Станюковича (с 1867 года) — Любовь Николаевна (урожд. Арцеулова; 1845–1907); у них было пятеро детей: Наталья (1868–1903), Любовь (1871–1884), Зинаида (1872–1932?), Мария (1875–1942), Константин (1882–1898).

⁴² Отец писателя Михаил Николаевич Станюкович (1786–1869) в 1852–1855 годах был начальником Севастопольского порта и военным губернатором города; впоследствии член Адмиралтейского совета, полный адмирал (1856); с 1862 года в отставке. Николай Алексеевич Арцеулов (1816–1863) был известным кораблестроителем, имел чин подполковника Корпуса корабельной стражи.

⁴³ Тихомиров Лев Александрович (1852–1923) — член Исполнительного комитета «Народной воли»; печатался в «Деле» под псевдонимом «И. Кольцов»; с 1882 года в эмиграции; в 1888 году раскаялся, получил помилование и вернулся в Россию.

⁴⁴ К. М. Станюкович был арестован в апреле 1884 года при возвращении из-за границы в Россию и после года содержания в Петропавловской крепости выслан административно в Сибирь на 3 года; жил с семьей в Томске; вернулся из ссылки с семьей в июне 1888 года. Журнал «Дело», выкупленный Станюковичем у вдовы Г. Е. Благосветлова в 1883 году, испытывал серьез-

ные финансовые затруднения, и после ареста Станюковича выход был приостановлен; новым владельцем стал И. С. Дурново, предпринимавший попытки возобновления, но неудачно, и в начале 1888 года журнал прекратился окончательно.

⁴⁵ Возможно, имеются в виду «Очерки питейной торговли», помещенные как фельетон в № 291 от 21 октября 1880 года, с. 1–2: подпись: «И. П.».

⁴⁶ Потапенко неточно вспомнил последовательность своих публикаций в «Деле». Она была такова: «Новый (Из хроники южно-русского села)» (1881. № 3. С. 193–232; № 4. С. 110–153); «Редкий праздник (Из хроники южно-русского села)» (1881. № 10. С. 195–234); «Деревенские выборы (Очерк)» (1882. № 4. С. 160–176); «„Потешная история“ (Из деревенской хроники)» (1883. № 6. С. 1–34); «Семейка (Южно-деревенский очерк)» (1883. № 10. С. 281–300); «Ради хозяйства (Южно-деревенский очерк)» (1883. № 12. С. 121–145); «В потемках (Из хроники южно-русского села)» (1884. № 2. С. 164–204). См.: *Бенина М. А.* Журнал «Дело» (1866–1888): Указатель содержания. СПб., 1993. Вып. 1.

⁴⁷ Вестник Европы. 1885. № 8. С. 565–610.

DOI: 10.31860/0131-6095-2025-1-191-204

© О. Е. Рубинчик

О МАЛОИЗВЕСТНОМ ДРУГЕ А. А. АХМАТОВОЙ*

В коллекции «летописца» А. А. Ахматовой второй половины 1920-х годов П. Н. Лукицкого сохранилась адресованная ей записка, до сих пор не публиковавшаяся:

«Аннушка, родная, напишите, как здоровье.

Завтра тоже непременно заеду к Вам.

М.»¹

Автор записки — М. М. Циммерман, человек, о котором мало что известно. Упоминания о нем в исследованиях (в основном связанных с Ахматовой) разрознены, а порой и ошибочны. Например, в справках иногда пишут — «артист балета»,² а Н. Я. Мандельштам считала его балетмейстером.³ Публикуемая записка, на первый взгляд, подкрепляет подобные предположения — она написана на бланке с театральной «шапкой»: «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЛЕТА (Петроград, бывш. Мариинский театр)» (далее — ГАТОБ). Однако существует личное дело Циммермана в фонде Управления академических театров,⁴ которое показывает, что ни артистом, ни балетмейстером он не был, и проясняет некоторые факты его биографии, включая дату рождения.

* Благодарю Р. Д. Тименчика за чтение статьи в рукописи и советы.

¹ ИРЛИ. Ф. 754 (К). Оп. 2. № 119. Орфография и пунктуация документов, публикуемых по первоисточникам, приводятся в соответствии с современной нормой.

² См.: «артист балета (?)» (*Ахматова А. А.* Собр. соч.: В 6 т. М., 1998. Т. 1. С. 791); «артист, танцовщик» (*Ахматова А. А.* Победа над Судьбой: В 2 т. М., 2005. Т. 2. С. 419); «артист балета» (Михаил Кузмин: Жизнь подо льдом (Дневник 1929 года) / Публ., предисловие и комм. С. В. Шумихина // Наше наследие. 2010. № 93/94. С. 125).

³ *Мандельштам Н.* Об Ахматовой. М., 2007. С. 146.

⁴ ЦГАЛИ СПб. Ф. 260. Оп. 3. № 3775; «Дело Петроградской конторы императорских театров о службе делопроизводителя Режиссерского упр<авле>ния оперной трупп<ы> Михаила Михайловича Циммермана. Началось 24 августа 1918 года. Кончилось 2 июля 1926 года», хранится в дореволюционной папке, с устаревшим к советскому времени названием конторы. Далее — Дело М. М. Циммермана. За указание на местонахождение дела благодарю Т. С. Позднякову и сотрудников архива Мариинского театра. О содержании дела (подробнее, чем здесь) и о самом персонаже (кратко) мне уже доводилось писать в связи с упоминанием Циммермана в письме Ахматовой: *Рубинчик О. Е.* Об одном разорванном письме Анны Ахматовой // Литературный факт. 2024. № 3 (33). С. 187–212.

25. 鲁迅:《集外集拾遗》,北京:人民文学出版社,1973年,第342页。(Lu Sin'. Dopolneniia k Sobraniu sochinenii. Pekin, 1973).
26. 欧茵西:《俄罗斯文学史》,台北:中国文化大学出版社,1980年,第294页。(Ou In'si. Istoriia russkoi literatury. Taibei, 1980).
27. 齐宁:《安德烈·别雷的〈彼得堡〉》,《外国文艺》,1979年4期,第314页。(Tsi Nin. «Peterburg» Andreia Belogo // Vaigo ven'i. 1979. № 4).
28. 瞿秋白:《俄国文学史及其他》,上海:复旦大学出版社,2004年,第59页。(Tsiui Tsiubo. Istoriia russkoi literatury i prochee. Shankhai, 2004).
29. 任光宣:《俄罗斯文学简史》,北京:北京大学出版社,2006年,第313页。(Zhen' Guansiu-an'. Kratkaia istoriia russkoi literatury. Pekin, 2006).
30. 汪介之:《20世纪欧美文学史》,南京:南京师范大学出版社,2003年,第389–391页。(Van Tszechzhi. Istoriia evropeiskoi i amerikanskoi literatury XX veka. Nankin, 1993).
31. 王彦秋:《音乐精神:俄国象征主义诗学研究》,北京:北京大学出版社,2008年,第5页。(Van Ian'tsiu. Dukh muzyki v russkoi simvolistskoi poezii. Pekin, 2008).
32. 吴元迈:《20世纪外国文学史(第一卷):世纪之交的外国文学》,南京:译林出版社,2004年,第165页。(U Iuan'mai. Istoriia zarubezhnoi literatury XX veka. Nankin, 2004. T. 1. Inostrannaia literatura na rubezhe vekov).
33. 张剑跃:《中外象征诗选萃》,杭州:浙江文艺出版社,1989年,第132–133页。(Chzhan Tszian' iue. Izbr. kitaiskie i zarubezhnye simvolicheskie stikhi. Khanchzhou, 1989).
34. 张杰,汪介之:《20世纪俄罗斯文学批评史》,南京:译林出版社,2000年,第61页。(Chzhan Tsze, Van Tszechzhi. Istoriia kritiki russkoi literatury XX v. Nankin, 2000).
35. 张敏:《白银时代:俄罗斯现代主义作家群论》,哈尔滨:黑龙江大学出版社,2007年,第9页。(Chzhan Min'. Serebrianiy vek: Issledovanie russkikh pisatelei-modernistov. Kharbin, 2007).
36. 郑体武:《俄国现代主义诗歌》,上海:上海外语教育出版社,2001年,第216页。(Chzhen Tiu. Russkaia modernistskaia poeziia. Shankhai, 2001).
37. 郑体武:《俄罗斯文学简史》,上海:上海外语教育出版社,2006年,第157页。(Chzhen Tiu. Kratkaia istoriia russkoi literatury. Shankhai, 2006).
38. 郑振铎:《俄国文学史略》,上海:商务印书馆,1924年,第149页。(Chzhen Chzhendo. Kratkaia istoriia russkoi literatury. Shankhai, 1924).
39. 周启超:《白银时代俄罗斯文学研究》,北京:北京大学出版社,2003年,第197页。(Chzhou Tsichao. Issledovanie russkoi literatury Serebriianogo veka. Pekin, 2003).
40. 周启超:《俄国象征派文学理论建树》,合肥:安徽教育出版社,1998年,第251页。(Chzhou Tsichao. Literaturnaia teoriia russkikh simvolistov. Khefei, 1998).

Алексей Викторович Востриков

заведующий сектором «Библиотека Бестужевских курсов»
Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ

Alexey Viktorovich Vostrikov

Senior Curator, Bestuzhev Courses Library, M. Gorky Research Library,
St. Petersburg State University

ORCID: 0009-0005-0821-9511

bestuzhevka@gmail.com

ВОСПОМИНАНИЯ И. Н. ПОТАПЕНКО «НЕСКОЛЬКО СЛОВ»

«A FEW WORDS»: THE REMINISCENCES OF I. N. POTAPENKO

Впервые публикуемые воспоминания И. Н. Потапенко посвящены раннему периоду его петербургской жизни (конец 1870-х — начало 1880-х годов), когда он, будучи студентом одновременно университета и консерватории, делал первые шаги в литературе. Автор описывает особенности студенческого быта и рассказывает о своем знакомстве с известными литераторами К. М. Станюковичем, Н. Ф. Бажиним, В. А. Полегикой и др.

Ключевые слова: И. Н. Потапенко, К. М. Станюкович, студенческие землячества, журнал «Дело», литературный дебют.

I. N. Potapenko's reminiscences, published here for the first time, cover the initial period of his life in St. Petersburg (from the late 1870s to the early 1880s) when, as a student at both the university and the conservatory, he took his first steps toward a career in literature. The author presents details of student life and describes his interactions with famous writers, including K. M. Stanyukovich, N. F. Bazhin, V. A. Poletika, and others.

Key words: I. N. Potapenko, K. M. Stanyukovich, student clubs, the journal *Delo*, literary debut.

Список литературы

1. Бестужевка в цифрах: к 130-летию юбилею Санкт-Петербургских Высших женских курсов (1878–1918 гг.). СПб., 2008.
2. *Гинзбург Л. Я.* О старом и новом. Л., 1982.
3. *Гитович И. Е.* Потапенко Игнатий Николаевич // Русские писатели. 1800–1917: Биографический словарь. М., 2007. Т. 5.
4. *Кумпан К. А.* Институт истории искусств на рубеже 1920–1930-х гг. // Конец институций культуры двадцатых годов в Ленинграде: по архивным материалам. М., 2014.
5. 323 эпиграммы / Сост. Е. Эткинд. Париж, 1988.
6. *Чуковская Л. К.* Прочерк. М., 2009.
7. *Чуковский К. И.* Дневник. 1901–1929. М., 1991.

References

1. Bestuzhevka v tsifrah: k 130-letnemu iubileiu Sankt-Peterburgskikh Vysshikh zhenskikh kursov (1878–1918 gg.). SPb., 2008.
2. *Chukovskaja L. K.* Procherk. M., 2009.
3. *Chukovskii K. I.* Dnevnik. 1901–1929. M., 1991.
4. *Ginzburg L. Ia.* O starom i novom. L., 1982.
5. *Gitovich I. E.* Potapenko Ignatii Nikolaevich // Russkie pisateli. 1800–1917: Biograficheskii slovar'. M., 2007. T. 5.
6. *Kumpun K. A.* Institut istorii iskusstv na rubezhe 1920–1930-kh gg. // Konets institutsii kul'tury dvadtsatykh godov v Leningrade: po arkhivnym materialam. M., 2014.
7. 323 epigrammy / Sost. E. Etkind. Parizh, 1988.

Ольга Ефимовна Рубинчик

научный сотрудник

Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН

Olga Efimovna Rubinchik

Researcher, Institute of Russian Literature (Pushkinskij Dom),

Russian Academy of Sciences

ORCID: 0000-0001-5609-1819

rubinchik_olga@mail.ru

О МАЛОИЗВЕСТНОМ ДРУГЕ А. А. АХМАТОВОЙ

A. A. AKHMATOVA'S OBSCURE FRIEND

В статье рассказывается о малоизвестном друге А. А. Ахматовой, памяти которого посвящено ее стихотворение 1928 года «Если плещется лунная жуть...», — о М. М. Циммермане, помощнике режиссера-администратора в бывшем Мариинском театре. В результате изучения личного дела в фонде Управления академических театров (ЦГАЛИ СПб) устанавливается ряд фактов его биографии. Впервые публикуется записка Циммермана к Ахматовой.